

БОЛЬШИЕ



КНИГИ

Герман
Мелвилл

МОБИ ДИК,
или
БЕЛЫЙ КИТ



Издательство «Иностранка»
МОСКВА

УДК 821.111(73)
ББК 84(7Сое)-44
М 47

Перевод с английского
И. Бернштейн, И. Гуровой, М. Лорие, С. Сухарева

Серийное оформление В. Пожидаева

Оформление обложки и иллюстрация на обложке С. Шикина

Издание подготовлено при участии издательства «Азбука».

- © И. Бернштейн (наследник), перевод, примечания, 2015
- © И. Гурова (наследник), перевод, примечания, 2015
- © М. Лорие (наследник), перевод, 2015
- © С. Сухарев, перевод, 2015
- © В. Топоров (наследник), перевод стихов, 2015
- © Е. Апенко, примечания, 2007
- © Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательская Группа
„Азбука-Аттикус“», 2015
Издательство ИНОСТРАНКА®

ISBN 978-5-389-10750-2

МОБИ ДИК,
или
БЕЛЫЙ КИТ

Роман



Натаниелю Готорну
в знак преклонения перед его гением
посвящается эта книга

Глава I

ОЧЕРТАНИЯ ПРОСТУПАЮТ

Зовите меня Измаил. Несколько лет тому назад — когда именно, не важно — я обнаружил, что в кошельке у меня почти не осталось денег, а на земле не осталось ничего, что могло бы еще занимать меня, и тогда я решил сесть на корабль и поплавать немного, чтоб поглядеть на мир и с его водной стороны. Это у меня проверенный способ развеять тоску и наладить кровообращение. Всякий раз, как я замечаю угрюмые складки в углах своего рта; всякий раз, как в душе у меня воцаряется промозглый, дождливый ноябрь; всякий раз, как я ловлю себя на том, что начал останавливаться перед вывесками гробовщиков и пристраиваться в хвосте каждой встречной похоронной процессии; в особенности же всякий раз, как ипохондрия настолько овладевает мною, что только мои строгие моральные принципы не позволяют мне, выйдя на улицу, упорно и старательно сбивать с прохожих шляпы, я понимаю, что мне пора отправляться в плавание, и как можно скорее. Это заменяет мне пулю и пистолет. Катон с философическим жестом бросается грудью на меч — я же спокойно поднимаюсь на борт корабля. И ничего удивительного здесь нет. Люди просто не отдают себе в этом отчета, а то ведь многие рано или поздно по-своему начинают испытывать к океану почти такие же чувства, как и я.

Взгляните, к примеру, на город-остров Манхэттен, словно атолл коралловыми рифами, опоясанный товарными пристанями, за которыми шумит коммерция кольцом прибора. На какую бы улицу вы тут ни свернули — она обязательно приведет вас к воде. А деловой центр города и самая его оконечность — это Бэттери, откуда тянется величественный мол, омываемый волнами и овеваемый ветрами, которые всего лишь за несколько часов до этого дули в открытом море. Взгляните же на толпы людей, что стоят там и смотрят на воду.

Обойдите весь город сонным субботним вечером. Ступайте от Корлиерсовой Излучины до самых доков Коентиса, а оттуда по Уайтхоллу к северу. Что же вы увидите? — Вокруг всего города, точно безмолвные часовые на посту, стоят несметные полчища смертных, погруженных в созерцание океана. Одни облокотились о парапеты набережных, другие сидят на самом конце мола, третьи заглядывают за борт корабля, прибывшего из Китая, а некоторые даже вскарабкались вверх по вантам, словно для того, чтобы еще лучше видеть морские дали. И ведь это все люди сухопутных профессий, будние дни проводящие узниками за штукатурными стенами, прикованные к прилавкам, пригвожденные к скамьям, согбенные над конторками. В чем же тут дело? Разве нет на суше зеленых полей? Что делают здесь эти люди?

Но взгляните! Все новые толпы устремляются сюда, подходят к самой воде, словно нырять собрались. Удивительно! Они не удовлетворяются, покуда не достигнут самых крайних оконечностей суши; им мало просто посидеть вон там в тени пакгауза. Нет. Им обязательно нужно подобраться так близко к воде, как только возможно, не рискуя свалиться в волны. Тут они и стоят, растянувшись на мили, на целые лиги по берегу. Сухопутные горожане, они пришли сюда из своих переулков и тупиков, улиц и проспектов, с севера, юга, запада и востока. Но здесь они объединились. Объясните же мне, может быть, это стрелки всех корабельных компасов своей магнетической силой влекут их сюда?

Возьмем другой пример. Представьте себе, что вы за городом, где-нибудь в холмистой озерной местности. Выберите любую из бесчисленных тропинок, следуйте по ней, и — десять против одного — она приведет вас вниз к зеленому долу и исчезнет здесь, как раз в том месте, где поток разливается нешироким озерком. В этом есть какое-то волшебство. Возьмите самого рассеянного из людей, погруженного в глубочайшее раздумье, поставьте его на ноги, подтолкните, так чтобы ноги пришли в движение, — и он безошибочно приведет вас к воде, если только вода вообще есть там в окрестностях. Быть может, вам придется когда-либо терзаться муками жажды среди Великой Американской пустыни, проделайте же тогда этот эксперимент, если в караване вашем найдется хоть один профессор метафизики. Да, да, ведь всем известно, что размышление и вода навечно неотделимы друг от друга.

Или же, например, художник. У него возникает желание написать самый поэтический, тенистый, мирный, чарующий романтический пейзаж во всей долине Сако. Какие же предметы использует

он в своей картине? Вот стоят деревья, все дуплистые, словно внутри каждого сидит отшельник с распятием; здесь дремлет луг, а там дремлет стадо, а вон из того домика подымается в небо сонный дымок. На заднем плане уходит, теряясь в глубине лесов, извилистая тропка, достигая тесных горных отрогов, купающихся в прозрачной голубизне. И все же, хоть и лежит перед нами картина, погруженная в волшебный сон, хоть и роняет здесь сосна свои вздохи, словно листья, на голову пастуху, — все усилия живописца останутся тщетны, покуда он не заставит своего пастуха устремить взор на бегущий перед ним ручей. Отправляйтесь в прерии в июне, когда там можно десятки миль брести по колено в траве, усеянной оранжевыми лилиями, — чего не хватает среди всего этого очарования? Воды — там нет ни капли воды! Если бы Ниагара была всего лишь низвергающимся потоком песка, стали бы люди приезжать за тысячи миль, чтобы полюбоваться ею? Почему бедный поэт из Теннесси, получив неожиданно две пригоршни серебра, стал колебаться: купить ли ему пальто, в котором он так нуждался, или же вложить эти деньги в пешую экскурсию на Рокэвей-Бич? Почему всякий нормальный, здоровый мальчишка, имеющий нормальную, здоровую мальчишечью душу, обязательно начинает рано или поздно бредить морем? Почему сами вы, впервые отправившись пассажиром в морское плавание, ощущаете мистический трепет, когда вам впервые сообщают, что берега скрылись из виду? Почему древние персы считали море священным? Почему греки выделили ему особое божество, и притом — родного брата Зевса? Разумеется, во всем этом есть глубокий смысл. И еще более глубокий смысл заключен в повести о Нарциссе, который, будучи не в силах уловить мучительный, смутный образ, увиденный им в водоеме, бросился в воду и утонул. Но ведь и сами мы видим тот же образ во всех реках и океанах. Это — образ непостижимого фантома жизни; и здесь — вся разгадка.

Однако, когда я говорю, что имею обыкновение пускаться в плавание всякий раз, как туманится мой взгляд и легкие мои дают себя чувствовать, я не хочу быть понятым в том смысле, будто я отправляюсь в морское путешествие пассажиром. Ведь для того, чтобы стать пассажиром, нужен кошелек, а кошелек — всего лишь жалкий лоскут, если у вас в нем ничего нет. К тому же пассажиры страдают морской болезнью, заводят склоки, не спят ночами, получают, как правило, весьма мало удовольствия; — нет, я никогда не езжу пассажиром; не езжу я, хоть я и бывалый моряк, ни коммодором, ни капитаном, ни коком. Всю славу и почет, связанные с этими

должностями, я предоставляю тем, кому это нравится; что до меня, то я питаю отвращение ко всем существующим и мыслимым почетным и уважаемым трудам, испытаниям и несчастьям. Достаточно с меня, если я могу позаботиться о себе самом, не заботясь еще при этом о кораблях, барках, бригах, шхунах и так далее, и тому подобное. А что касается должности кока — хоть я и признаю, что это весьма почетная должность, ведь кок — это тоже своего рода командир на борту корабля, — сам я как-то не особенно люблю жарить птицу над очагом, хотя, когда ее как следует поджарят, разумно пропитают маслом и толково посолят да поперчат, никто тогда не сможет отозваться о жареной птице с большим уважением — чтобы не сказать благоговением, — чем я. А ведь древние египтяне так далеко зашли в своем идолопоклонническом почитании жареного ибиса и печеного гишпопотама, что мы и сейчас находим в их огромных пещерах-пирамидах мумии этих существ.

Нет, когда я иду в плавание, я иду самым обыкновенным, простым матросом. Правда, при этом мною изрядно помыкают, меня гоняют по всему кораблю и заставляют прыгать с реи на рею, подобно кузнечнику на майском лугу. И поначалу это не слишком приятно. Задевает чувство чести, в особенности если происходишь из старинной сухопутной фамилии, вроде Ван-Ранселиров, Рандольфов или Хардиканутов. И тем паче если незадолго до того момента, как тебе пришлось опустить руку в бочку с дегтем, ты в роли деревенского учителя потрясал ею самовластно, повергая в трепет самых здоровенных своих учеников. Переход из учителей в матросы довольно резкий, смею вас уверить, и требуется сильнодействующий лечебный отвар из Сенеки в смеси со стойками, чтобы вы могли с улыбкой перенести это. Да и он со временем теряет силу.

Однако что с того, если какой-нибудь старый хрыч-капитан приказывает мне взять метлу и вымести палубу? Велико ли здесь унижение, если опустить его на весы Нового Завета? Вы думаете, я много потеряю во мнении архангела Гавриила, оттого что на сей раз быстро и послушно исполню приказание старого хрыча? Кто из нас не раб, скажите мне? Ну а коли так, то как бы ни помыкали мною старые капитаны, какими бы тумачами и подзатыльниками они ни награждали меня, я могу утешаться сознанием, что это все в порядке вещей, что каждому достается примерно одинаково — то есть, конечно, либо в физическом, либо в метафизическом смысле; и, таким образом, один вселенский подзатыльник передается от человека к человеку и каждый в обществе чувствует скорее не локоть, а кулак соседа, чем нам и следует довольствоваться.

Кроме того, я всегда плаваю матросом потому, что в этом случае мне считают необходимым платить за мои труды, а вот что касается пассажиров, то я ни разу не слышал, чтобы им заплатили хотя бы полпенни. Напротив того, пассажиры еще сами должны платить. А между необходимостью платить и возможностью получать плату — огромная разница. Акт уплаты представляет собой, я полагаю, наиболее неприятную кару из тех, что навлекли на нас двое обирателей яблоневых садов. Но когда *тебе платят* — что может сравниться с этим! Изысканная любезность, с какой мы получаем деньги, поистине удивительна, если принять во внимание, что мы серьезно считаем деньги корнем всех земных зол и твердо верим, что богатому человеку никаким способом не удастся проникнуть на небо. Ах, как жизнерадостно миримся мы с вечной погубелью!

И наконец, я всегда плаваю матросом из-за благородного воздействия на мое здоровье физического труда на свежем воздухе полубака. Ибо в нашем мире с носа ветры дуют чаще, чем с кормы (если, конечно, не нарушать предписаний Пифагора), и потому коммодор на шканцах чаще всего получает свою порцию воздуха из вторых рук, после матросов на баке. Он-то думает, что вдыхает его первым, но это не так. Подобным же образом простой народ опережает своих вождей во многих других вещах, а вожди даже и не подозревают об этом.

Но по какой причине мне, неоднократно плававшему прежде матросом на торговых судах, взбрело на этот раз в голову пойти на китобойце — это лучше, чем кто-либо другой, сумеет объяснить невидимый офицер полиции Провидения, который содержит меня под постоянным надзором, негласно следит за мной и тайно воздействует на мои поступки. Можно не сомневаться в том, что мое плавание на китобойном судне входило составной частью в грандиозную программу Провидения, начертанную задолго до того. Оно служило как бы короткой интермедией и сольным номером между более обширными выступлениями. Я думаю, на афише это должно выглядеть примерно так:

ОСТРАЯ БОРЬБА ПАРТИЙ НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ
В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ

ПУТЕШЕСТВИЕ НЕКОЕГО ИЗМАИЛА
НА КИТОБОЙНОМ СУДНЕ

КРОВАВАЯ РЕЗНЯ В АФГАНИСТАНЕ

Хоть я и не могу точно сказать, почему режиссеры-Судьбы назначили мне эту жалкую роль на китобойном судне, ведь доставались же другим великолепные роли в возвышенных трагедиях, короткие и легкие роли в чувствительных драмах и веселые роли в фарсах, — хоть я и не могу точно сказать, почему так получилось, тем не менее теперь, припоминая все обстоятельства, я начинаю, кажется, немного разбираться в скрытых пружинах и мотивах, которые, будучи представлены мне в замаскированном виде, побудили меня сыграть упомянутую роль, да еще льстиво внушили мне, будто я поступил по собственному усмотрению на основе свободы воли и разумных суждений.

Главной среди этих мотивов была всеподавляющая мысль о самом ките, величественном и огромном. Столь злое, столь загадочное чудовище не могло не возбуждать моего любопытства. А кроме того, бурные дальние моря, по которым плывет, колыхаясь, его подобная острову туша, смертельная, непостижимая опасность, таящаяся в его облике, в сочетании со всеми неисчислимыми красотами патагонских берегов, их живописными ландшафтами и многозвучными голосами — все это лишь укрепляло меня в моем стремлении. Быть может, другим такие вещи не кажутся столь заманчивыми, но меня вечно томит жажда познать отдаленное. Я люблю плавать по заповедным водам и высаживаться на диких берегах. Не оставаясь глухим к добру, я тонко чувствую зло и могу в то же время вполне ужиться с ним — если только мне дозволено будет, — поскольку надо ведь жить в дружбе со всеми теми, с кем приходится делить кров.

И вот в силу всех этих причин я с радостью готов был предпринять путешествие на китобойном судне; великие шлюзы, ведущие в мир чудес, раскрылись настежь, и в толпе причудливых образов, сманивших меня к моей цели, двойными рядами потянулись в глубине души моей бесконечные процессии китов, и среди них — один величественный крутоверхий призрак, вздымающийся ввысь, словно снеговая вершина.

Глава II КОВРОВЫЙ САКВОЯЖ

Я захихнул пару рубашек в свой старый ковровый саквояж, подхватил его под мышку и отправился в путь к мысу Горн, в просторы Тихого океана. Покинув славный старый город Манхэттен,

я во благовремении прибыл в Нью-Бедфорд. Дело было в декабре, поздним субботним вечером. Каково же было мое разочарование, когда я узнал, что маленький пакетбот до Нантакета уже ушел и теперь до понедельника туда ни на чем нельзя будет добраться.

Поскольку большинство молодых искателей тягот и невзгод китобойного промысла останавливаются в этом самом Нью-Бедфорде, дабы оттуда отбыть в плавание, мне, разумеется, и в голову не приходило следовать их примеру. Ибо я твердо вознамерился поступить только на нантакетское судно, потому что во всем, что связано с этим славным древним островом, есть какое-то здоровое и неистовое начало, на редкость для меня привлекательное. К тому же, хотя в последнее время Нью-Бедфорд постепенно монополизировал китобойный промысел и хотя бедный старый Нантакет теперь сильно отстает от него в этом деле, тем не менее Нантакет был великим его предшественником, как Тир был предшественником Карфагена, ведь это в Нантакете был впервые в Америке вытасчен на берег убитый кит. Откуда еще, как не из Нантакета, отчалили на своих челноках первые китобой-аборигены, краснокожие индейцы, отправившиеся в погоню за левиафаном? И откуда, как не из Нантакета, отвалил когда-то один отважный маленький шлюп, наполовину нагруженный, как гласит предание, издалека привезенными булыжниками, которые были предназначены для того, чтобы швырять в китов и тем определять, довольно ли приблизился шлюп к цели и можно ли рискнуть гарпуном.

Итак, мне предстояло провести в Нью-Бедфорде ночь, день и еще одну ночь, прежде чем я смогу отплыть к месту моего назначения, и посему возник серьезный вопрос, где я буду есть и спать все это время. Ночь отнюдь не внушала доверия, это была, в общем-то, очень темная и мрачная ночь, морозная и неприятная. Никого в этом городе я не знал. Своими жадными скрюченными пальцами-якорями я уже обшарил дно карманов и поднял на поверхность всего лишь жалкую горстку серебра. «Так что, куда бы ты ни вздумал направиться, Измаил, — сказал я себе, стоя посреди безлюдной улицы с мешком на плече и любуясь тем, как хмурится небо на севере и как мрачнеет оно на юге, — где бы в премудрости своей ты ни порешил приклонить главу свою на эту ночь, мой любезный Измаил, не премини осведомиться о цене и не слишком-то привередничай».

Робкими шагами ступая по мостовым, миновал я вывеску «Под скрещенными гарпунами» — увы, там все выглядело чересчур до-

рого и чересчур весело. Чуть подалее я увидел яркие окна гостиницы «Меч-рыба», откуда красноватый свет падал такими жаркими лучами, что казалось, он растопил весь снег, пак и лед перед домом, а повсюду вокруг смерзшийся десятидюймовый слой льда лежал, словно твердая асфальтовая мостовая, и шагать по этим острым выступам было для меня довольно затруднительно, поскольку в результате тяжелой бессменной службы подошвы мои находились в весьма плачевном состоянии. «И тут чересчур дорого и чересчур весело, — подумал я, задержавшись на мгновение, чтобы полюбоваться яркими отсветами на мостовой и послушать доносящийся изнутри звон стаканов. — Но проходи же, Измаил, слышишь? Убирайся прочь от этой двери: твои залатанные башмаки загородили вход». И я пошел дальше. Теперь я инстинктивно стал сворачивать на те улицы, которые вели к воде, ибо там, без сомнения, расположены самые дешевые, хотя, может быть, и не самые заманчивые гостиницы.

Что за унылые улицы! По обе стороны тянулись кварталы тьмы, в которых лишь кое-где мерцала свеча, словно кто-то нес ее по черным лабиринтам гробницы. Тогда в последний час последнего дня недели этот конец города казался совсем обезлюдевшим. Но вот я заметил дымную полоску света, падавшего из заманчиво приоткрытой двери какого-то низкого длинного строения. Здание имело весьма запущенный вид, из чего я сразу заключил, что оно предназначено для общественного пользования. Перешагнув порог, я прежде всего упал, споткнувшись о ящик с золой, оставленный в сенях. «Ха-ха, — сказал я себе, едва не задохнувшись в облаке взлетевших частиц праха, — уж не от погибшего ли града Гоморры этот пепел? Там были „Скрещенные гарпуны“, потом „Меч-рыба“. А сейчас я, наверное, попал в „Ловушку“?» Тем не менее я поднялся с пола и, слыша изнутри громкий голос, толчком отворил вторую дверь.

Что это? Черный Парламент заседает в преисподней? Ряды черных лиц, числом не менее ста, обернулись, чтобы поглядеть на меня; а за ними в глубине черный Ангел Смерти за кафедрой колотил рукой по раскрытой книге. Это была негритянская церковь, и проповедник держал речь о том, как черна тьма, в которой раздаются лишь вопли, стоны и скрежет зубовный. «Да, Измаил, — пробормотал я, пятясь к двери, — неприятное развлечение ждало тебя под вывеской „Ловушка“».

И я снова пошел по улицам, пока не различил наконец поблизости от пристани какой-то тусклый свет и не уловил в воздухе тихий унылый скрип. Подняв голову, я увидел над дверью раскачиваю-

щуюся вывеску, на которой белой краской изображено было нечто отдаленно напоминающее высокую отвесную струю туманных брызг, а под ней начертаны следующие слова: «Гостиница „Китовый фонтан“, Питер Гроб».

«Гроб? Китовый фонтан? Звучит довольно зловеще при данных обстоятельствах», — подумал я. Впрочем, ведь, говорят, в Нантакете это распространенная фамилия, и сей Питер, вероятно, просто переселился сюда с острова. Свет оттуда шел такой тусклый, вокруг в этот час все казалось таким спокойным, да и сам этот ветхий деревянный домишко выглядел так, словно его перевезли сюда из погорелого района, и так по-нищенски убого поскрипывала над ним вывеска, что я понял — именно здесь я смогу найти пристанище себе по карману и наилучший гороховый кофе.

Странное это было сооружение — старый дом под островерхой крышей совсем перекосялся на один бок, словно несчастный паралитик. Он стоял, зажатый в какой-то тесный и мрачный угол, а буйный ветер Евроклидон не переставая завывал вокруг еще яростнее, чем некогда вокруг утлого суденышка бедного Павла. А ведь Евроклидон — это отменно приятный зефир для всякого, кто сидит под крышей и спокойно поджаривает у камина ноги, покуда не придет время отправляться ко сну. «При оценке того буйного ветра, что носит наименование Евроклидон, — говорит один древний автор, чьи труды дошли до нас в единственном экземпляре, владельцем которого являюсь я, — огромная разница проистекает из того, рассматриваешь ли ты его сквозь оконные стекла, ограждающие тебя от холода, царящего по ту сторону, или же ты глядишь на него из того окна, в котором нет переплетов, из окна, по обе стороны которого царит холод, из окна, которое лишь некто по имени Смерть может остеклянить». «Право же, — подумал я, когда эти строки пришли мне на память, — ты рассуждаешь разумно, мой древний готический фолиант». В самом деле, глаза эти — окна, а тело мое — это дом. Жаль, правда, что не заткнуты как следует все трещины и щели, надо бы понасовать кое-где немного корпии. Но теперь уже поздно вносить усовершенствования. Вселенная уже возведена, ключевой камень свода уложен и щебень вывезен на телегах миллион лет тому назад. Бедный Лазарь, лязгая зубами на панели, что служит ему подушкой, и от дрожи отрясая последние лохмотья со своего озябшего тела, может законопатить себе уши тряпьем, а рот заткнуть обглоданным кукурузным початком, но и так он не сумеет укрыться от Евроклидона.

— Евроклидон! — говорит Богач в красном шлафроке (он завел себе потом другой, еще краснее). — Уф-ф! Уф-ф! Отличная морозная ночь! Как мерцает Орион; как полыхает северное сияние! Пусть себе болтают о нескончаемом восточном лете, вечном, как в моем зимнем саду. Я за то, чтобы самому создавать свое лето у собственного своего очага.

А что думает по этому поводу Лазарь? Сумеет ли он согреть посиневшие руки, воздев их к великому северному сиянию? Быть может, Лазарь предпочел бы очутиться на Суматре, а не здесь? Быть может, он с удовольствием согласился бы улечься вдоль экватора или же даже, о боги, спуститься в самую бездну огненную, только бы укрыться от мороза?

Однако вот Лазарь должен лежать здесь на панели у порога Богача, словно кит на мели, и это еще несуразнее, чем айсберг, причаливший к одному из Молуккских островов. Да и сам Богач, он ведь тоже живет, словно царь в ледяном доме, построенном из замерзших вздохов, и как председатель общества трезвенников он пьет лишь чуть теплые слезы сирот.

Но теперь довольно ныть и стенать, мы уходим на китобойный промысел, и все это в изобилии нам еще предстоит. Давай-ка отделим лед с обмерзших подошв и поглядим, что представляет собой гостиница «Китовый фонтан».

Глава III ГОСТИНИЦА «КИТОВЫЙ ФОНТАН»

Входя под островерхую крышу гостиницы «Китовый фонтан», вы оказываетесь в просторной низкой комнате, обшитой старинными деревянными панелями, напоминающими борта ветхого корабля смертников. С одной стороны на стене висит очень большая картина, вся закопченная и до такой степени стертая, что, разглядывая ее в слабом перекрестном освещении, вы только путем долговременного усердного изучения, систематически к ней возвращаясь и проводя тщательный опрос соседей, смогли бы в конце концов разобраться в том, что на ней изображено. Там нагромождено такое непостижимое скопище теней и сумерек, что поначалу вы готовы вообразить, будто перед вами — труд молодого, подающего надежды художника, задавшегося целью живописать колдовской хаос времен знаменитых ведьм, прославивших Новую Англию. Од-

нако в результате долгого и вдумчивого созерцания и продолжительных упорных размышлений, в особенности же в результате того, что вы догадались распахнуть оконце в глубине комнаты, вы в конце концов приходите к заключению, что подобная мысль, как ни дика она, тем не менее не так уже бесосновательна.

Но вас сильно озадачивает и смущает нечто вытянутое, гибкое и чудовищное, черной массой повисшее в центре картины над тремя туманными голубыми вертикальными линиями, плывущими в невообразимой пенной пучине. Ну и картина, в самом деле, вся какая-то текучая, водянистая, расплывающаяся, нервного человека такая и с ума свести может. В то же время в ней есть нечто возвышенное, хотя и смутное, еле уловимое, загадочное, и оно тянет вас к полотну снова и снова, пока вы наконец не дадите себе невольной клятвы выяснить любой ценой, что означает эта диковинная картина. По временам вас осеняет блестящая, но, увы, обманчивая идея. — Это штормовая ночь на Черном море. — Противоестественная борьба четырех стихий. — Ураган над вересковой пустошью. — Гиперборейская зима. — Начало ледохода на реке Времени... Но все эти фантазии в конце концов отступают перед чудовищной массой в центре картины. Понять, что это, — и все остальное будет ясно. Но постойте, не напоминает ли это отдаленно какую-то гигантскую рыбу? Быть может, даже самого левиафана?

И в самом деле, по моей окончательной версии, частично основанной на совокупном мнении многих пожилых людей, с которыми я беседовал по этому поводу, замысел художника сводится к следующему. Картина изображает китобойца, застигнутого свирепым ураганом у мыса Горн; океан безжалостно швыряет полузатопленное судно, и только три его голые мачты еще поднимаются над водой; а сверху огромный разъяренный кит, вознамерившийся перепрыгнуть через корабль, запечатлен в тот страшный миг, когда он обрушивается прямо на мачты, словно на три огромных вертела.

Вся противоположная стена была сплошь увешана чудовищными дикарскими копьями и дубинками. Какие-то блестящие зубы густо унизывали деревянные рукоятки, так что те походили на костяные пилы. Другие были украшены султанами из человеческих волос. А одно из этих смертоносных орудий имело серповидную форму и огромную загнутую рукоятку и напоминало собою ту размашистую дугу, какую описывает в траве длинная коса. При взгляде на него вы вздрагивали и спрашивали себя, что за свирепый дикарь-каннибал собирал когда-то свою смертную жатву этим жутким

серпом. Тут же висели старые заржавленные китобойные гарпуны и остроги, все гнутые и поломанные. С иными из них были связаны целые истории. Вот этой острой, некогда такой длинной и прямой, а теперь безнадежно искривленной, пятьдесят лет тому назад Натан Свейн успел убить между восходом и закатом пятнадцать китов. А вон тот гарпун — столь похожий теперь на штопор — был когда-то брошен в яванских водах, но кит сорвался и ушел и был убит много-много лет спустя у мыса Бланко. Гарпун вонзился чудовищу в хвост, но за это время он, подобно игле, блуждающей в теле человека, проделал путь в сорок футов и был найден в мякоти китового горба.

Пересекая эту сумрачную комнату, вы через низкий сводчатый проход, пробитый, надо полагать, на месте большого центрального камина и потому имеющий по несколько очагов вдоль обеих стен, попадаете в буфетную. Эта комната еще сумрачнее первой; над самой головой у вас выступают такие тяжелые балки, а под ногами лежат такие ветхие корявые доски, что вы готовы вообразить себя в кубрике старого корабля, в особенности если дело происходит бурной ночью, когда этот древний ковчег, стоящий на якоре в своем закоулке, весь сотрясается от ударов ветра. Сбоку у стены там стоял длинный, низкий, похожий на полку стол, уставленный потрепавшимися стеклянными ящиками, в которых хранились запыленные диковины, собранные в самых отдаленных уголках нашего просторного мира. А из дальнего конца комнаты выступала буфетная стойка — какое-то темное сооружение, грубо воспроизводившее очертания головы гренландского кита. И как ни странно, но это действительно была огромная аркообразная китовая челюсть, такая широкая, что чуть ли не целая карета могла проехать под ней. Внутри она была увешана старыми полками, кругом уставленными старинными графинами, бутылками, флягами; и в этой всесокрушающей пасти, словно второй Иона (кстати, именно так его там и прозвали), суетился маленький сморщенный старичок, втридорога продававший морякам горячку и погибель за наличные деньги.

Устрашающи были стаканы, куда лил он свой яд. Снаружи они казались правильными цилиндрами, но внутри зеленое дутое стекло прехитрым образом сужалось книзу, да и донышки оказывались обманчиво толстыми. По стенкам в стекле были грубо выдолблены параллельные меридианы, опоясывавшие эти разбойничьи кубки. Нальют вам до этой мерки — с вас пенни, до другой — еще пенни,

и так до самого верха — китобойская доза, которую вы можете получить за один шиллинг.

Войдя в помещение, я увидел у стола группу молодых моряков, разглядывавших в тусклом свете заморские диковины. Я нашел глазами хозяина и, заявив ему о своем намерении снять у него комнату, услышал в ответ, что его гостиница полна — нет ни одной свободной постели.

— Однако постойте, — тут же добавил он, хлопнув себя по лбу, — вы ведь не станете возражать, если я предложу вам разделить ложе с одним гарпунщиком, а? Вы, я вижу, собрались поступать на китобоец, вот вам и надо привыкать к таким вещам.

Я сказал ему, что не люблю спать вдвоем в одной постели, что если уж я когда-нибудь и пошел бы на это, то здесь все зависит от того, что представляет собой гарпунщик; если же у него (хозяина) действительно нет другого места и если гарпунщик будет не слишком неприемлем, то уж, конечно, чем и дальше бродить в такую морозную ночь по улицам чужого города, я готов удовлетвориться половиной одеяла, которым поделится со мной любой честный человек.

— Ну то-то. Вот и отлично. Да вы присядьте. Ужинать-то, ужинать будете? Ужин сейчас уж поспеет.

Я сел на старую деревянную лавку, вдоль и поперек покрытую резьбой не хуже скамеек в парке Бэттери. На другом конце ее какой-то задумчивый матрос, усердно согнувшись в три погибели и широко раздвинув колени, украшал сиденье при помощи карманного ножа. Он пытался изобразить корабль, идущий на всех парусах, но, по-моему, это ему плохо удавалось.

Наконец нас — человек пять-шесть — пригласили к столу в соседней комнате. Там стоял холод, прямо как в Исландии, камин даже не был затоплен — хозяин сказал, что не может себе этого позволить. Только тускло горели две сальные свечи в двух витых подсвечниках. Пришлось нам застегнуть на все пуговицы свои матросские куртки и греть оледеневшие пальцы о кружки с крутым кипятком. Но накормили нас отменно. Не только картошкой с мясом, но еще и пышками, да, клянусь Богом, пышки к ужину! Один юноша в зеленом бушлате набросился на эти пышки самым свирепым образом.

— Эй, парень, — заметил хозяин, — помняи мое слово, сегодня ночью тебя будут мучить кошмары.

— Хозяин, — шепотом спросил я, — это не тот самый гарпунщик?

— Да нет, — ответил он мне с какой-то дьявольской усмешкой, — тот гарпунщик — смуглый молодой человек. И пышек он никогда не станет есть, нет, нет, он ест одни бифштексы. Да и те только с кровью.

— У него губа не дура, — говорю. — Но где же он сам-то? Здесь?

— Вскорости будет здесь, — последовал ответ.

Этот «смуглый» гарпунщик начинал внушать мне некоторые опасения. На всякий случай я принял решение, если нам все-таки придется спать с ним вместе, заставить его раздеться и лечь в постель первым.

Ужин кончился, и общество вернулось в буфетную, где я, не видя иного способа убить время, решил посвятить остаток вечера наблюдениям над окружающими.

Внезапно снаружи донеслись буйные возгласы. Хозяин поднял голову и воскликнул: «Это команда „Косатки“! Я утром читал, что „Косатка“ появилась на рейде. Три года были в плавании и вот пришли с полными трюмами. Ура, ребята! Сейчас узнаем, что новенького на Фиджи».

Из прихожей донесся стук матросских сапог, дверь распахнулась, и к нам ввалилась целая стая диких морских волков. Вернее же — свирепых лабрадорских медведей, каковых они напоминали в своих теплых косматых полушубках и накрученных на головы шерстяных шарфах, все в лохмотьях и заплатках, с сосульками в промерзших бородах. Они только что высадились со своего корабля и прежде всего зашли сюда. Не удивительно поэтому, что они прямым курсом устремились к китовой пасти — буфету, где хлопотливый сморщенный старичок Иона тут же наделил каждого полным до краев стаканом вина. Один из прибывших пожаловался на сильную простуду, и по этому поводу Иона приготовил и протянул ему большую дозу дегтеподобного джина, смешанного с патокой, представлявшего собой, по его клятвенному заверению, королевское средство от любых простуд и катаров, и свежих, и застарелых, где бы вы их ни подхватили — у лабрадорского побережья или же с подветренной стороны какого-нибудь айсберга.

Хмель скоро бросился им в голову, как это обычно и случается даже с самыми отъявленными пьяницами, когда они после плавания впервые сходят на берег, и они стали предаваться крайне буйным развлечениям.

Я заметил, однако, что один из них держался немного в стороне от остальных, и хоть видно было, что ему не хочется портить здорового веселья товарищей трезвым выражением лица, в общем-то он все-таки предпочитал шуметь поменьше, чем другие. Этот человек сразу же возбудил мой интерес; и поскольку морские боги судили ему быть впоследствии моим товарищем по плаванию (хотя всего лишь на немых ролях, по крайней мере на страницах настоящего повествования), я попытаюсь сейчас набросать его портрет. Он имел полных шесть футов росту, великолепные плечи и грудную клетку — настоящий кессон для подводных работ. Редко случалось мне видеть такую силу в человеке. Лицо у него было темно-коричневым от загара, а белые зубы по контрасту казались просто ослепительными. Но в затененной влажной глубине его глаз таились какие-то воспоминания, видимо, не очень его веселившие. Речь сразу же выдавала в нем южанина, а отличное телосложение позволяло догадываться, что это — рослый горец с Аллеганского кряжа. Когда пиршественное ликование его сотрапезников достигло наивысшего предела, человек этот незаметно вышел из комнаты, и больше я его уже не видел, покуда он не стал моим спутником на корабле. Однако через несколько минут товарищи хватились его. Видно, он по какой-то причине пользовался у них большой любовью, потому что тут же поднялся крик: «Балкингтон! Балкингтон! Где Балкингтон?» — и все они вслед за ним устремились вон из гостиной.

Было уже около девяти часов. В комнате после этой шумной оргии наступила почти сверхъестественная тишина, и я поздравлял себя с одним небольшим планом, который пришел мне в голову перед самым появлением матросов.

Никто не любит спать вдвоем. Право же, даже с родным братом вы всей душой предпочли бы не спать вместе. Не знаю, в чем тут дело, но только люди, когда спят, склонны проделывать это в уединении. Ну а уж если речь идет о том, чтоб спать с чужим, незнакомым человеком, в незнакомой гостинице, в незнакомом городе, и незнакомец этот к тому же еще гарпунщик, в таком случае ваши возражения умножаются до бесконечности. Да и не было никаких реальных резонов для того, чтобы я как матрос спал с кем-нибудь в одной кровати, ибо матросы в море не чаще спят вдвоем, чем холостые короли на суше. Спят, конечно, все в одном помещении, но у каждого есть своя койка, каждый укрывается собственным одеялом и спит в своей собственной шкуре.

И чем больше я размышлял о гарпунщике, тем неприятнее становилась для меня перспектива спать с ним вместе. Справедливо было предположить, что раз он гарпунщик, то белье у него вряд ли будет особенно чистым и наверняка — не особенно тонким. Меня просто всего передергивало. Кроме того, было уже довольно поздно, и моему добропорядочному гарпунщику следовало бы вернуться и взять курс на постель. Подумать только, а вдруг он заявится в середине ночи и обрушится прямо на меня — разве я смогу определить, из какой грязной ямы он притащился?

— Хозяин! Я передумал относительно гарпунщика — я с ним спать не буду. Попробую устроиться здесь, на лавке.

— Как пожелаете. Жаль только, я не смогу ссудить вас скатертью взамен матраса, а доски здесь дьявольски корявые — все в сучках и зазубринах. Впрочем, постойте-ка, приятель, у меня тут в буфете есть рубанок. Погодите минутку, я сейчас устрою вас как следует. — Говоря это, хозяин достал рубанок и, смахнув предварительно с лавки пыль своим старым шелковым платком, принялся что было мочи стругать мое ложе, ухмыляясь при этом какой-то насмешливой ухмылкой. Стружки летели во все стороны, покуда лезвие рубанка вдруг не наткнулось на дьявольски крепкий сучок. Хозяин едва не вывихнул себе кисть, и я стал заклинать его во имя Господа, чтобы он остановился: для меня это ложе и так было достаточно мягким, да к тому же я отлично знал, что, как ни стругай, никогда в жизни из сосновой доски не сделаешь пуховой перины. Тогда, снова ухмыльнувшись, он собрал стружки, сунул их в большую печь посреди комнаты и занялся своими делами, оставив меня в мрачном расположении духа.

Я примерился к лавке и обнаружил, что она на целый фут короче, чем мне надо; однако этому можно было помочь посредством стула. Но она оказалась к тому же еще и на целый фут уже, чем необходимо, а вторая лавка в этой комнате была дюйма на четыре выше, чем обструганная, так что составить их вместе не было никакой возможности. Тогда я поставил свою лавку вдоль свободной стены, но не вплотную, а на некотором расстоянии, чтобы в промежутке поместить свою спину. Но скоро я почувствовал, что от подоконника на меня сильно тянет холодом, и понял всю неосуществимость своего плана, тем более что вторая струя холодного воздуха шла от ветхой входной двери, сталкиваясь с первой, и вместе они образовывали целый хоровод маленьких вихрей в непосредственной близости от того места, где я вздумал было провести ночь.

А, дьявол забери этого гарпунщика, подумал я; однако постоялка, я ведь могу предупредить его — заложить засов изнутри, забраться в его постель, и пусть тогда колотят в дверь как хотят — я все равно не проснусь. Мысль эта показалась мне недурна, но, подумав еще немного, я все-таки от нее отказался. Кто его знает, а вдруг наутро, выйдя из комнаты, я тут же наткнусь на гарпунщика, готового сбить меня с ног ударом кулака?

Я снова огляделся вокруг, по-прежнему не видя иной возможности сносно провести ночь, как только в чужой постели, и подумал, что, быть может, я все-таки напрасно так предубежден против неведомого мне гарпунщика. Подожду-ка еще немного, думаю, скоро уж он, наверное, заявится. Я рассмотрю его хорошенько, и, может быть, мы с ним отлично вместе выспимся, кто знает?

Однако время шло, другие постояльцы по одному, по двое и по трое входили в гостиницу и разбредались по своим комнатам, а моего гарпунщика все не было видно.

— Хозяин, — сказал я, — что он за человек? Он всегда так поздно приходит?

Дело было уже близко к двенадцати.

Хозяин снова усмехнулся своей издевательской усмешкой, словно что-то недоступное моему пониманию сильно его развлекало.

— Нет, — ответил он мне, — обычно он возвращается рано. Рано в кровать, рано вставать. Ранняя птишка. Кто рано встает, тому Бог дает. Но сегодня он отправился торговать. Никак не пойму, что это его так задержало, разве только он никак не продаст свою голову.

— Продать свою голову? Что за небылицы ты плетешь? — ярость моя постепенно возрастала. — Уж не хочешь ли ты сказать, хозяин, что в святой субботний вечер или, вернее, в утро святого воскресенья твой гарпунщик занимается тем, что ходит по всему городу и торгует своей головой?

— Именно так, — подтвердил хозяин. — И я предупредил его, что ему не удастся продать ее здесь: рынок забит ими.

— Чем забит? — заорал я.

— Да головами же. Разве в нашем мире не слишком много голов?

— Вот что, хозяин, — сказал я совершенно спокойно, — советую тебе угостить этими рассказами кого-нибудь другого — я не такой уж зеленый простачок.

— Возможно, — согласился он, выстругивая из палочки зубочистку. — Да только, думается мне, быть вам не зеленым, а синим, если этот гарпунщик услышит, как вы хулите его голову.

— Да я проломлю его дурацкую голову! — снова возмутился я невразумительной болтовней хозяина.

— Она и так проломана.

— Проломана? То есть как это проломана?

— Ясное дело, проломана. Поэтому-то, я думаю, он и не может ее продать.

— Хозяин, — говорю я и подхожу к нему вплотную, холоден, как Гекла во время снежной бури. — Хозяин, перестаньте затачивать зубочистки. Нам с вами нужно понять друг друга, и притом без промедления. Я прихожу к вам в гостиницу и спрашиваю постель, а вы говорите, что можете предложить мне только половину и что вторая половина принадлежит какому-то гарпунщику. И об этом самом гарпунщике, которого я даже еще не видел, вы упорно рассказываете мне самые загадочные и возмутительные истории, словно нарочно стараетесь возбудить во мне неприязненное чувство по отношению к человеку, с которым мне предстоит спать в одной кровати и с которым поэтому меня будут связывать отношения близкие и в высшей степени конфиденциальные. Поэтому я требую, хозяин, чтобы вы оставили недомолвки и объяснили мне, кто такой этот гарпунщик и что он собой представляет, и буду ли я в полной безопасности, если соглашусь провести с ним ночь. И прежде всего, хозяин, будьте добры признать, что эта история с продажей головы вымышленная, ибо в противном случае я считаю ее очевидным доказательством того, что ваш гарпунщик совершенно не в своем уме, а я вовсе не желаю спать с помешанным; а вас, сэр, да-да, хозяин, именно вас, за сознательную попытку принудить меня к этому я с полным правом смогу привлечь к судебной ответственности.

— Ну и ну, — проговорил хозяин, едва переводя дыхание. — Довольно длинная проповедь, особенно если кто и чертыхается еще понемножку. Да только зря вы волнуетесь. Этот гарпунщик, о котором я вам говорю, только недавно вернулся из рейса по Южным морям, где он накупил целую кучу новозеландских бальзамированных голов (они здесь ценятся как большая редкость), и распродал уже все, кроме одной: сегодня он хотел обязательно продать последнюю, потому что завтра воскресенье, а это уж неподходящее дело — торговать человеческими головами на улицах, по которым люди идут мимо тебя в церковь. В прошлое воскресенье я как раз

остановил его, когда он собирался выйти за порог с четырьмя головами, нанизанными на веревочку, ну что твоя связка луковиц, ей-богу.

Это объяснение рассеяло тайну, только что представлявшуюся необъяснимой, и доказало, что хозяин в общем-то не имел намерения дурачить меня, но в то же время, что мог я подумать о гарпунщике, который всю ночь с субботы на святое воскресенье проводил на улице за таким людоедским делом, как торговля головами мертвых идолопоклонников?

— Можете мне поверить, хозяин, этот гарпунщик — опасный человек.

— Платит аккуратно, — последовал ответ. — Однако ведь уже страсть как поздно, пора и на боковую. Ей-богу, послушайте вы меня, это отличная кровать. Салли и я спали на этой самой кровати с той ночи, когда нас окрутили. Для двоих в этой кровати места за глаза — кувыркайся как хочешь. Отличнейшая просторная кровать. Да что там говорить, пока мы спали на ней, Сал еще укладывала в ногах нашего Сэма и нашего маленького Джонни. Но потом мне однажды приснился какой-то сон, я стал брыкаться и спихнул Сэма на пол, так что он едва не сломал руку. После этого Сал сказала, что так не годится. Да вот пойдете-ка, взгляните сами.

Сказав это, он зажег свечу и протянул ее мне, пропуская меня вперед. Но я стоял в нерешительности, и тут он, взглянув на часы в углу комнаты, воскликнул:

— Ну, вот и воскресенье! Сегодня ночью вы уже не увидите своего гарпунщика. Видно, он стал на якорь где-то в другом месте. Да пошли же, пошли! Идете вы или нет?

Я поразмыслил еще минуту, а затем мы зашагали вверх по лестнице, и я очутился в небольшой холодной, как устричная раковина, комнатке, посреди которой действительно стояла чудовищная кровать, настолько большая, что в ней спокойно уместились бы четыре спящих гарпунщика.

— Ну вот, — сказал хозяин и поставил свечу на старый матросский сундук, служивший здесь одновременно и подставкой для умывального таза и столом, — теперь устраивайтесь поудобнее. Спокойной вам ночи.

Я оторвал взгляд от кровати, оглянулся, но он уже исчез.

Тогда я отвернул одеяло и наклонился над постелью. Далекая от какой бы то ни было изысканности, она тем не менее оказалась при ближайшем рассмотрении вполне сносной. Тогда я стал огля-

дывать комнату, но, помимо кровати и сундука-стола, не обнаружил здесь никакой другой мебели, кроме грубо сколоченной полки, четырех стен и каминного экрана, обклеенного бумагой с изображением человека, поражающего кита. Из предметов, не входящих непосредственно в обстановку этой комнаты, здесь была скатанная и перевязанная койка, брошенная на пол в углу, а вместо сухопутного чемодана — большой матросский мешок, содержащий, без сомнения, гардероб гарпунщика. Сверх того, на полке над камином лежала связка костяных рыболовных крючков заморского вида, а у изголовья кровати стоял длинный гарпун.

Но что за предмет лежит на сундуке? Я взял его в руки, поднес к свету, щупал, нюхал и всяческими способами пытался прийти относительно него к какому-нибудь вразумительному заключению. Я могу сравнить его только с большим половиком, украшенным по краям позвякивающими висюльками, наподобие игл пятнистого дикобраза на отворотах индейских мокасин. В центре этого половика была дыра, вернее, узкий разрез вроде того, что мы видим в плащах-пончо. Но возможно ли, чтобы здравомыслящий гарпунщик нацепил на себя половик и в подобном одеянии расхаживал по улицам христианского города? Я примерил его из любопытства, и он, словно тюк с провизией, так и пригнул меня книзу, толстый, косматый и, как показалось мне, слегка влажный, как будто загадочный гарпунщик носил его под дождем. Не снимая его, я подошел к осколку зеркала, приставленного к стене, — никогда в жизни не видел я подобного зрелища. Я с такой поспешностью выдирался из него, что едва не удавил себя.

Потом я уселся на край кровати и стал размышлять о торгующем головами гарпунщике и его половике. Поразмыслив некоторое время на краю кровати, я встал, снял бушлат и стал размышлять посреди комнаты. Потом снял куртку и малость поразмыслил в одной рубашке. Но, почувствовав, что полураздетый я начинаю замерзать, и вспомнив, как хозяин уверял меня, что гарпунщик сегодня вовсе не вернется домой, потому что час уже слишком поздний, я без дальнейших колебаний разулся и скинул панталоны, а затем, задув свечу, повалился на кровать и поручил себя заботам провидения.

Чем там был набит матрас: обглоданными кукурузными початками или битой посудой — сказать трудно, но я долго ворочался в постели и все никак не мог заснуть. Наконец я забылся легкой дремотой и готов был уже отплыть с попутным ветром в сонное царст-

во, как вдруг в коридоре раздались тяжелые шаги и в щели под дверью замерцал слабый свет.

Господи, помилосердствуй, думаю, ведь это, должно быть, гарпунщик, проклятый торговец головами. А сам лежу совершенно неподвижно, преисполнившись решением не произнести ни слова, покуда ко мне не обратятся. Держа в одной руке свечу, а в другой — ту самую новозеландскую голову, незнакомец вошел в комнату и, даже не взглянув на кровать, поставил свечу прямо на пол в дальнем углу, а сам принялся возиться с веревками, перевязывавшими большой мешок, о котором я уже упоминал. Я горел желанием рассмотреть его лицо, но, занятый развязыванием мешка, он некоторое время стоял, отвернувшись от меня. Однако, справившись наконец с веревками, он обернулся и, о небо! Что я увидел! Какая рожа! Цвета темно-багрового с прожельтью, это лицо было усеяно большими черными квадратами. Ну вот, так я и знал: эдакое пугало мне в сотоварищи! Он, видно, подрался с кем-то, ему изрезали все лицо, и хирург наклеил пластырей. Но в этот самый момент он как раз обратил лицо к свету, и я отчетливо увидел, что это у него вовсе не пластыри, эти черные квадраты на щеках. Это были какие-то пятна на коже. Вначале я не знал, что и подумать, но скоро стал подозревать истину. Мне припомнился рассказ о белом человеке — тоже китобое, — который попал к каннибалам и был подвергнут ими татуировке. И я решил, что и этот гарпунщик во время своих дальних плаваний пережил подобное приключение. Ну и что с того, в конце концов, подумал я. Ведь это всего лишь его внешний облик, можно под всякой кожей быть честным человеком. Однако как же объяснить нечеловеческий цвет его лица, вернее, цвет тех участков кожи, которые лежат по краям черных квадратов и не затронуты татуировкой? Возможно, правда, что это — лишь сильный тропический загар, но, право же, я никогда не слышал, чтобы в лучах жаркого солнца белый человек загорал до багрово-желтого цвета. Впрочем, ведь я никогда не бывал в Южных морях; быть может, южное солнце там оказывает на кожу подобное невероятное воздействие. Между тем как все эти мысли, словно молнии, пронеслись у меня в голове, гарпунщик по-прежнему не замечал меня. Повозившись с мешком, он открыл его, порылся там и вскоре извлек нечто вроде томагавка и какую-то сумку из тюленьей шкуры мехом наружу. Положив все это на старый сундук в центре комнаты, он взял новозеландскую голову — вещь достаточно отвратительную — и запихал ее в мешок. Затем он снял шапку — новую бобровую шапку, — и тут

я чуть было не взвыл от изумления. На голове у него не было волос, во всяком случае ничего такого, о чем бы стоило говорить, только небольшой черный узелок, скрученный над самым лбом. Эта лысая багровая голова была как две капли воды похожа на заплесневелый череп. Если бы незнакомец не стоял между мною и дверью, я бы пулей вылетел из комнаты — быстрее, чем расправлялся когда-либо с самым вкусным обедом.

Но и при такой дислокации я начал было подумывать о том, что бы выбраться незаметно через окно, да только комната наша была на третьем этаже. Я не трус, но этот торгующий головами багровый разбойник был вне границ моего разума. Неведение — мать страха, и, признаюсь, я, совершенно ошарашенный и сбитый с толку этим зрелищем, до такой степени боялся теперь незнакомца, словно это сам дьявол ворвался глубокой ночью ко мне в комнату. По совести говоря, я настолько был перепуган, что не имел духу окликнуть его и потребовать удовлетворительного объяснения относительно всего того, что представлялось мне в нем загадочным.

Между тем он продолжал раздеваться и наконец обнажил грудь и руки. Умереть мне на этом самом месте, ежели я лгу, но только упомянутые части его тела, обычно скрытые одеждой, были разграфлены в такую же клетку, как и лицо; и спина тоже была вся покрыта черными квадратами, точно он только что вернулся с Тридцатилетней войны, израненный и весь облепленный пластырем. Мало того, даже ноги его были разукрашены, будто целый выводок темно-зеленых лягушек карабкался по стволам молодых пальм. Теперь было совершенно ясно, что это — какой-то свирепый дикарь, в Южных морях погрузившийся на борт китобойца и таким образом попавший в христианскую землю. Меня просто трясло от ужаса. И к тому же еще он торгует головами — быть может, головами своих братьев. А что если ему приглянется моя голова... Господи! какой жуткий томагавк!

Но мне уже некогда было трястись, ибо дикарь теперь стал проделывать нечто, полностью поглотившее мое внимание и окончательно убедившее меня в том, что передо мной действительно язычник. Приблизившись к своему тяжелому пончо, или плащу, или покрывалу — уж не знаю, как это назвать, — которое он перед тем повесил на спинку стула, он стал рыться в его карманах и вытащил наконец какого-то удивительного горбатого уродца, в точности такого же цвета, как трехдневный конголезский младенец. Вспомнив набальзамированную голову, я уже готов был впрямь поверить, что

СОДЕРЖАНИЕ

МОБИ ДИК, ИЛИ БЕЛЫЙ КИТ. Роман <i>Перевод И. Бернштейн</i>	5
ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ	
Билли Бадд, фор-марсовый матрос. <i>Перевод И. Гуровой</i>	565
Веранда. <i>Перевод С. Сухарева</i>	646
Писец Бартлби. <i>Перевод М. Лорие</i>	661
Бенито Серено. <i>Перевод И. Бернштейн</i>	696
Торговец громоотводами. <i>Перевод С. Сухарева</i>	775
Энкантадас, или Заколдованные острова. <i>Перевод М. Лорие</i>	783
Башня с колоколом. <i>Перевод С. Сухарева</i>	836
Два храма. <i>Перевод М. Лорие</i>	853
Счастливая неудача. <i>Перевод С. Сухарева</i>	866
Скрипач. <i>Перевод С. Сухарева</i>	874
Рай для Холостяков и Ад для Девиц. <i>Перевод М. Лорие</i>	881
Джимми Роз. <i>Перевод С. Сухарева</i>	902
Я и мой камин. <i>Перевод С. Сухарева</i>	913
Примечания. <i>И. Бернштейн, И. Гурова, Е. Апенко</i>	945

Мелвилл Г.

М 47 Моби Дик, или Белый Кит : роман, повести, рассказы / Герман Мелвилл ; пер. с англ. И. Бернштейн, И. Гуровой, М. Лорие, С. Сухарева. — М. : Иностранка, Азбука-Аттикус, 2016. — 960 с. — (Иностранная литература. Большие книги).

ISBN 978-5-389-10750-2

Герман Мелвилл (1819–1891) — американский писатель и моряк, в чьем творчестве и судьбе удивительно органично переплелись опыт путешественника и мифопоэтическое мировоззрение художника. Осознание величины дарования Мелвилла пришло не сразу, и лишь спустя четверть века после смерти писателя стали видны очертания того огромного вклада, который он внес в сокровищницу мировой литературы. Центральное произведение Мелвилла — грандиозный «Моби Дик» — стал одной из вершин американской литературы, окончательно лишив Америку статуса «культурной пустыни». В настоящее издание вошли, помимо «Моби Дика», ряд наиболее значимых повестей и рассказов, дающих представление о многогранности таланта Германа Мелвилла и его писательском мастерстве.

В декабре 2015 года на широкие экраны страны выйдет очередная экранизация романа «Моби Дик» режиссера Рона Ховарда («Игры разума», «Нокдаун»), что подтверждает неослабевающий интерес к этому великому творению, как и убеждение в непреходящей актуальности и современности великих произведений искусства.

УДК 821.111(73)
ББК 84(7Сое)-44

Литературно-художественное издание

ГЕРМАН МЕЛВИЛЛ
МОБИ ДИК, ИЛИ БЕЛЫЙ КИТ

Ответственный редактор Кирилл Красник
Художественный редактор Сергей Шикин
Технический редактор Татьяна Раткевич
Компьютерная верстка Ирины Варламовой
Корректоры Ирина Сологуб, Нина Тюрина

Подписано в печать 19.10.2015. Формат издания 60 × 90^{1/16}.
Печать офсетная. Тираж 5000 экз. Усл. печ. л. 60. Заказ №

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):

12+

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —
обладатель товарного знака «Издательство Иностранка»
119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 4
Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» в Санкт-Петербурге
191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А

ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
04073, г. Киев, Московский пр., д. 6 (2-й этаж)

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт».
170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1, комплекс № 3А.
www.pareto-print.ru

ПО ВОПРОСАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

В Москве:

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
Тел.: (495) 933-76-01, факс: (495) 933-76-19
E-mail: sales@atticus-group.ru; info@azbooka-m.ru

В Санкт-Петербурге:

Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
Тел.: (812) 327-04-55, факс: (812) 327-01-60
E-mail: trade@azbooka.spb.ru; atticus@azbooka.spb.ru

В Киеве:

ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
Тел./факс: (044) 490-99-01. E-mail: sale@machaon.kiev.ua

Информация о новинках и планах, а также условия сотрудничества
на сайтах: www.azbooka.ru, www.atticus-group.ru



YLN1878001R